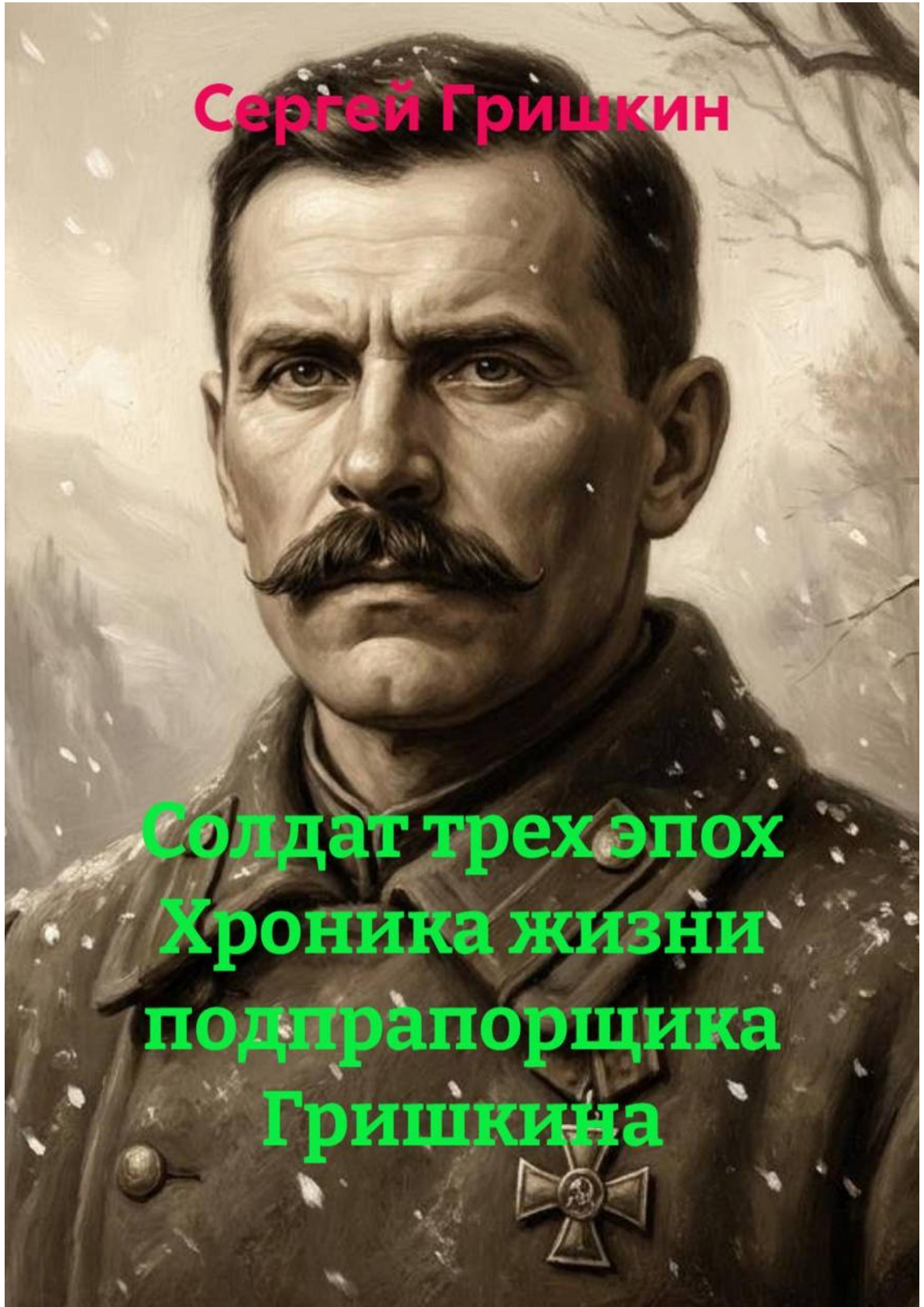


A detailed oil painting of a man with a mustache, wearing a military uniform with a cross-shaped medal on his chest. The background is a soft, textured wash of light colors.

Сергей Гришкин

**Солдат трех эпох
Хроника жизни
подпрапорщика
Гришкина**

Сергей Гришкин

**Солдат трех эпох Хроника жизни
подпрапорщика Гришкина**

«Автор»

2026

Гришкин С.

Солдат трех эпох Хроника жизни подпрапорщика Гришкина /
С. Гришкин — «Автор», 2026

Внимание! Книга — расширенная версия одноимённого очерка, дополненная архивными деталями и диалогами. Перед вами подлинная, документальная история русской семьи, чья судьба сплелась с XX веком. Главный герой — наровчатский крестьянин Прокофий Григорьевич Гришкин. Упрямый, двужильный характер помог ему пройти пекло трех войн. Его юность горела на сопках Маньчжурии, зрелость истекала кровью в Карпатах. Став подпрапорщиком и четырежды выжив под пулями, в 1930-е он бежал от коллективизации под Москву — спасти семью, резать торф и работать конюхом в совхозе «Люберецкие поля орошения». Но главный бой ждал его впереди. В 1942-м он проводил на фронт единственного сына Василия. Прошел через ошибочную похоронку в конце 1944 года и страшные полгода траура. В июле 1945 года в совхозном доме на 5-м участке встретились две великие армии одной страны: израненный сын-победитель с советскими орденами на гимнастерке и седой отец с Георгиевским крестом, сохраненным на дне чемодана.

© Гришкин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Аннотация	6
Пролог	7
Глава 1. Призыв. Лето 1904	8
Глава 2. На сопках Маньчжурии	14
Глава 3. Из «Пекина» в Окопы Великой Войны	18
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Сергей Гришкин
Солдат трех эпох Хроника жизни
подпрапорщика Гришкина

Сергей Гришкин

Солдат трех эпох

Хроника жизни подпрапорщика Гришкина

Аннотация

«Внимание! Данная книга является расширенной, полноформатной версией ранее опубликованного одноименного очерка, дополненной уникальными архивными деталями, историческими подробностями и художественными диалогами».

Эта книга — не выдумка. Перед вами подлинная, документальная история одной русской семьи, чья судьба намертво сплелась с хаосом и величием двадцатого века.

Главный герой повести — наровчатский крестьянин Прокофий Григорьевич Гришкин. Малый рост и упрямая, двужильная натура унтер-офицера помогли ему пройти через пекло трех великих войн, перепахавших полмира. Его юность горела на сопках Маньчжурии. Его зрелость замерзала в раскисшей глине Воьлини, коченела в тифозных топах на реке Стоход и истекала кровью на обледенелых кручах Карпат. Став подпрапорщиком царской армии и четырежды выжив под пулями, в тридцатые годы он был вынужден бежать от коллективизации в Подмоскowie — спасти семью, резать торф в резиновых чунах поверх лаптей и работать конюхом в молодом совхозе «Люберецкие поля орошения».

Но главный бой ждал Прокофия впереди. В сорок втором году он проводил на фронт своего единственного, горячо любимого восемнадцатилетнего сына Василия. Прошел через черную, ошибочную похоронку на сына в конце сорок четвертого года, выплаканные глаза жены Дарьи и страшные полгода траура.

В июле 1945 года у открытого окна комнаты совхозного дома на пятом отделении встретились две великие армии одной страны. Израненный двадцатилетний сын-победитель с советскими орденами Красной Звезды и Отечественной войны на гимнастерке и седой отец с Георгиевским крестом и Георгиевской медалью, сохраненными на самом дне старого чемодана.

Повесть «Солдат трёх эпох» — это пронзительный памятник человеческой стойкости, окопному братству и великой отцовской любви, которая оказалась сильнее смерти.

Пролог

В истории двадцатого века были люди, чьи судьбы мерились не годами, а эпохами. Они рождались под колокольный звон тихой, вековой царской России, мужали в пороховом дыму далеких окраин империи, ломали хребет в гнилых болотах первых советских строек и отдавали самое дорогое — своих детей — в пекло Великой Отечественной войны. Земля под их ногами меняла названия, флаги и законы, рушились троны и города, но сами они оставались неизблемыми. Как граненая сталь штыка.

Прокофий Григорьевич Гришкин из наровчатской Крапивки был именно таким солдатом.

Его жизнь не была легкой, она была двужильной. Судьба отмерила ему крестьянские сто шестьдесят восемь сантиметров роста и четыре пуда веса, словно отлитые из чистых, упрямых жил. Но именно этой малой силе пришлось выдержать три огромные, страшные войны, перепавшие полмира.

На его долю выпали сопки Маньчжурии и горькая пыль Ляояна в далеком 1904 году. Его зрелость замерзала в раскисшей глине Волыни, коченела в тифозных топях на реке Стоход и харкала кровью на обледенелых кручах Карпатских гор в Первую мировую. Четыре ранения оставили отметины на его теле, но не смогли согнуть подпрапорщика Инсарского полка.

Когда империя рухнула и фронтовые товарищи разошлись по домам, война для Прони не закончилась — она просто сменила обличье. Черные тучи коллективизации выгнали его из родной Крапивки, заставив сняться с насиженного места и бежать под Москву. Секач для торфа на люберецких болотах, резиновые чуни поверх лаптей, гнилая малярная вода по щиколотку и сырой щитовой барак — так ковалась его новая, советская биография. Он выстоял и здесь. Выстоял ради того, чтобы в сорок втором году обнять на призывном пункте своего единственного, любимого Ваську и отпустить его на третью войну.

В июле сорок пятого года, у открытого окна комнаты на втором этаже совхозного дома, встретились две великие армии одной страны. Израненный двадцатилетний сын с советскими орденами на гимнастерке и седой отец с Георгиевским крестом, бережно сохраненным на самом дне старого чемодана. Два солдата. Две эпохи. И одна Победа на двоих.

Эта книга — не выдумка. Это честная повесть о том, как русский человек шел сквозь хаос двадцатого века, держась за вожжи, за плуг и за штык, и как земля, которую он защищал и кормил, в конце концов отплатила ему самым главным чудом — спасенной жизнью его сына.

Глава 1. Призыв. Лето 1904

Июльское солнце палило деревню Крапивку так, что даже куры попрятались под повети. Проня Гришкин сидел на завалинке у своей избы и чинил оглоблю — старая треснула ещё на сенокосе, да всё руки не доходили. Вокруг стоял густой, настоящий на травах и навозе дух летней страды. Где-то за огородами звонко била коса — сосед Панкрат добивал остатки овсяной полосы.

Проня отложил оглоблю, потянулся — хрустнула молодая, ещё по-мальчишески гибкая спина. Девятнадцать лет, а кажется, что вся жизнь впереди. Не женат, не обзавёлся хозяйством, живёт с отцом, матерью и братьями в курной избе на взгорке. Вечерами, бывало, поглядывал на девок на посиделках, но всё как-то не решался заслать сватов. Думал: успеется. Успеется ещё.

Мать, Анна Степановна, вышла на крыльцо, вытерла руки о фартук:

— Проня, ты бы хоть рубаху чистую достал. Ежели придут...

— Придут — так придут, — буркнул он, но встал и пошёл в избу.

Отец, Григорий Васильевич, сидел в переднем углу и крутил сигарку из сушёных листьев малины. Проня знал: отец не курит, он просто занят руками. Когда отец молчал и мял пальцами что-то — это было хуже крика.

— Тятя, — сказал Проня, — ты не переживай. Может, пронесёт.

— Пронесёт... — Григорий Васильевич глянул на сына исподлобья. — Ты слышал, что в городе говорят? Японцы, говорят, до самого Порт-Артура дошли. Царь-батюшка рать собирает. А кого собирать-то? Нас, мужиков. Нас, пензенских. Тебя, Проня, и твоих одногодков.

Повестку из Шиловского волостного правления принесли на рассвете — не как бумагу, а как приговор. Сельский староста зашёл прямо в избу, не снимая шапки, положил листок на стол и сказал только одно: «В Наровчат, завтра к полудню. Сбор у воинского присутствия». И тут же, будто чтобы не дать никому ни секунды на раздумья, добавил: «Опоздаешь — полиция приведёт».

Эти слова ударили по нервам: в них не было ни сочувствия, ни намёка на возможность договориться. Только холодная уверенность власти: ты обязан явиться, а если не придёшь сам — тебя доставят силой. Проня на миг представил, как уездный урядник врывается в избу, хватает его за локоть, ведет по деревне под взглядами соседей. От этой картины внутри всё сжалось: не столько от страха перед службой, сколько от стыда, от ощущения, что у него отнимают даже право проститься по-человечески.

Анна Степановна заголосила, уткнулась в передник, заголосила тонко, по-бабы: «Сыночек мой, родименький... на кого ж ты нас покидаешь...»

Проня обнял её, глядя по седой голове:

— Мама, не плачь. Вернусь. Я же молодой, сильный. Отвоюем — и вернусь. Тогда уж дом поставлю, оженюсь, внуков тебе нарожаю.

Он перекрестился на иконы. Отец подошёл, положил руку на плечо:

— Смотри, сынок. Идёшь за землю, за веру. Я, старый, уже не гожусь, но ты — молодой. Вернись. Не позабудь нашу Крапивку, не позабудь, что мы тебя ждём.

— Вернусь, батя, — твёрдо ответил Проня. — Вернусь живым, и тогда заживём.

За околицей собралась вся деревня. Провожали не только Проню — ещё пятерых мужиков из Крапивки и Мелюковки. Женщины голосили, дети шмыгали носами. Панкрат, старый солдат, участник прежних походов, стоял в стороне и курил трубку.

— Не ревите, бабы, — сказал он хрипло. — Мужик наш русский — он и в огне не сгорит, и в воде не утонет. Побьём японцев — и всё.

Иконку Михаила Архангела ему мать надела на шею в тот самый миг, когда они прощались у калитки. Пальцы её дрожали, застёгивая простой медный замочек, а потом она прижала

ладонь к тому месту, где иконка легла на грудь, будто хотела этим жестом удержать сына хоть на ещё одну секунду рядом.

— Вернись живым, — прошептала она, и в этом шёпоте было столько страха, что Прокофию стало стыдно за собственный холодок внутри: ему казалось, что он-то как раз ничего не боится.

Брат Мишка, стоявший рядом, вдруг неловко протянул ему горсть сушёных яблок: «На дорожку... чтоб не голодно было». А в холщовую котомку мать успела сунуть краюху ржаного хлеба, туго перевязанную холстиной. Теперь эти мелочи — иконка, краюха, горсть яблок — стали для Прони чем-то вроде щита. Не от пуль, нет. От пустоты, которая разрасталась внутри с каждой минутой.

Проня поцеловал мать, обнял отца, махнул рукой деревенским — и зашагал вместе с остальными парнями по пыльной дороге к Наровчату. Рядом шёл Сенька из села Шиловка, чуть позади — Тихон и Ванька из Крапивки; все они теперь были связаны одной дорогой, одной повесткой, одной тревогой, что ждёт впереди. Проня старался держаться прямо, чтобы деревенские, стоявшие у околицы, видели: он не трусит. Но стоило скрыться за первым поворотом, как плечи опустились, а шаг стал тяжелее.

Он оглянулся только раз. Крапивка лежала в низине, будто прижавшись к земле, крыши изб сливались с цветом соломы, а над всем этим висел горячий марев. И в этом дрожащем воздухе деревня казалась уже не настоящей, а будто приснившейся.

Дорога до Наровчата была знакомой: каждую ярмарку Проня ходил этим путём, знал каждый поворот, каждую корягу у обочины. Но сегодня она будто стала чужой. Пыль липла к сапогам, солнце било в глаза, а каждый шаг отдавался в груди не усталостью, а предчувствием — будто он уходит не просто в город, а за какую-то невидимую черту, после которой ничего не будет как прежде.

К полудню Проня вместе с парнями добрался до Наровчата. Уездный городок встретил их суетой, какой раньше тут не бывало: у здания уездного воинского присутствия толпились мужики, рядом стояли телеги, на которых привезли призывников из дальних волостей, а по улицам сновали писари с пачками формуляров. Воздух был густ от криков, ржания лошадей и запаха пота — будто сам город дышал сейчас тяжело и напряжённо. Парни из Крапивки и Мелюковки держались кучкой, словно эта привычная близость хоть немного спасала от чужого, шумного, пугающего города.

Рядом с крыльцом сидел уездный писарь — шуплый, нервный, с чернильными пальцами, — и выкликал фамилии. А чуть поодаль, за дощатым столом, расположился военный чиновник в мундире — с усталыми, будто выцветшими глазами. Рядом стоял конвойный солдат с трехлинейкой: не для угрозы, а просто чтобы было видно — шутки кончились.

— Прокофий Гришкин! — рявкнул писарь, не поднимая глаз от приемного списка.

Проня шагнул вперёд. Колени дрожали, и он старался не смотреть на толпу, чтобы не видеть, как там, в задних рядах, кто-то крестится, кто-то шепчет что-то себе под нос.

Чиновник скользнул взглядом по графе, постучал пером по краю листа, словно проверяя, не дрожит ли бумага, и коротко бросил:

— Год рождения?

— Тысяча восемьсот восемьдесят пятого, в феврале родился, — проговорил Проня, и собственный голос прозвучал непривычно глухо среди всей этой суеты.

Чиновник на секунду задержал взгляд на графе, оценивая досрочный призыв девятнадцатилетнего парня, потом быстро поставил галочку и, не глядя на Проню, произнёс:

— Сначала на медицинский осмотр. После — распределение.

Это прозвучало как команда, не требующая возражений. Проню направили к длинному деревянному бараку во дворе, где пахло карболкой и сыростью. Внутри было полутемно, вдоль стены стояли лавки, на которых призывники снимали порты и рубахи, дожидаясь своей оче-

реди. На столе громоздились стопки формуляров и призывных карт — каждый лист означал чью-то судьбу, просто записанную чернилами.

Уездный врач, седой и равнодушный, будто видел тысячи таких парней и устал удивляться чужой молодости, велел Проне раздеться до пояса, постучал деревянной трубкой по груди, велел глубоко вдохнуть и выдохнуть, проверил суставы, заставил пройти по дощатому полу.

— Здоров. Годен, — бросил он, даже не поднимая глаз, и махнул рукой следующему.

Только после этого Проню снова подвели к столу воинского присутствия. Чиновник уже не спрашивал год рождения — он смотрел в другой список, толстый, с загнутыми уголками страниц, присланный из губернской Пензы.

— Зачислен по мобилизации в 216-й пехотный резервный Инсарский полк, — произнёс чиновник тем же ровным, лишённым интонаций голосом, будто называл не полк, а номер лавки на базаре. — Медосмотр пройден, отметка есть. Назначен в команду для немедленной отправки в Пензенские казармы на укомплектование батальонов. — Следующий!

И всё. Никакой паузы, чтобы перевести дух, никакого ощущения, что судьба хоть на миг зависла в воздухе. Просто строчка в списке, галочка, номер полка — и ты уже не крестьянский парень из Крапивки, а новобранец Его Величества.

Проня хотел спросить: «А как же... а почему именно туда?», но слова застряли в горле. Чиновник уже смотрел мимо него, на следующего, будто Прони больше не существовало как отдельного человека — только как строчка в ведомости.

Дальше всё шло быстро и как будто помимо его воли. Его отметили в этапном списке, выдали приемную квитанцию — маленький клочок бумаги, который он машинально сунул в карман портов, не понимая, зачем он ему. Потом его направили в уездную пересыльную казарму.

В казарме пахло сыростью, старым деревом и кислыми щами — запах был такой густой, что, казалось, его можно потрогать. Потемневшие от времени нары тянулись вдоль стен. На узких полках сидели парни из окрестных сел Шиловской волости: кто-то пытался шутить, чтобы прогнать тишину, кто-то замер, уставившись в одну точку.

Проня подошёл к своим — к тем, с кем ещё утром шагал по пыльной дороге из Крапивки. Ванька сидел, обхватив колени, и смотрел в пол. Рядом притулился Тихон, теребил сухую травинку, крутил её, ломал, снова складывал. Вокруг них, на трехъярусных нарах, устраивались мужики постарше — бородатые резервисты, «запасные», которых оторвали от жен и подростков детей. Эти по-настоящему горевали, молча курили махорку, басили о недостроенных овинах и несжатом хлебе. А Проня и его годки держались кучкой, словно эта привычная близость хоть немного спасала от пугающей неизвестности.

Проня присел рядом, плечом к плечу, не важно, не сверху, а просто как свой:

— Ну, братцы... Слава те, Господи, все тут. Живые.

Тихон поднял глаза, но смотрел не на Проню, а куда-то в сторону, в тёмный угол:

— Пронь, скажи... тебя куда? Нас в Пензу везут, к Красным казармам, в Инсарский полк.

Не раскидали по разным частям?

— Вместе, Тихон. Меня тоже в 216-й Инсарский пехотный.

Тихон медленно кивнул, будто примеряя эти слова к себе:

— Значит, вместе. Ну и ладно. Хоть на чужбине не по одному.

Только теперь Проня позволил себе опуститься на доски, чувствуя, как они прогибаются под тяжестью не столько тела, сколько безумного дня. Тут к нему подобрался Сенька, щуплый паренёк с веснушками, сел сбоку, стараясь занимать как можно меньше места.

— Слышь, Проня... и меня туда же записали.

— Держимся рядом, — прошептал Проня.

— Держимся, — кивнул Сенька.

Где-то в дальнем углу казармы кто-то тихо запел старую песню, такую привычную, деревенскую, что на мгновение показалось: может, и не так страшно, если рядом свои. Но тут оглушительно скрипнула дверь, вошёл унтер-офицер из кадровых — усатый, с Георгиевским крестом за прошлую Турецкую кампанию, — и песня оборвалась, будто её и не было.

— Эй, вы, лапотники, новобранцы! — рявкнул он, хлопая ладонью по столу, и звук этот ударил по нервам, как выстрел. — Слушай мою команду! Думали, будете тут месяц на казенных щах бока наедать да по плацу вышагивать? Хрен вам! Фронт горит, Порт-Артур в осаде! Царь-батюшка ждать не будет. Завтра на рассвете маршем на вокзал, грузимся в эшелоны!

Он обвел тяжелым взглядом замерших мужиков:

— Сейчас — бегом в цейхгауз, получать казенное обмундирование и оружие. Оденут вас, как на парад в Красном Селе, господа интенданты расстарались. Получите белые полотняные рубахи-гимнастерки, белые чехлы на фуражки, черные суконные шаровары да сапоги. Винтовки, патроны — всё выдадут на руки! Учиться ружейным приемам и строю будете в Сибири, прямо на остановках у поезда! Ровно сорок дней пути до Харбина — вот вам и весь плац. Вопросы есть? Вопросов нет! Шагом марш за шмотками!

В казарме повисла тяжелая тишина от осознания: никакого времени на передышку у них нет. Война не просто ждала где-то далеко — она бесцеремонно хватала их за шиворот прямо сейчас.

Выдача формы в цейхгаузе напоминала суматошный базар. Казенные сапоги швыряли, едва глядя на размер: «Разносишь, мужик, на фронте некогда мозоли разглядывать!» Проня получил свой узел, переоделся и удивленно оглядел себя. Все они в одночасье стали одинаковыми — чистыми, ослепительно белыми. Полотняные летние гимнастерки пахли складом и свежей крахмальной тканью, а на подолах чернели огромные казенные штампы интендантства: «216 П.И.П.».

Белые чехлы на фуражках делали головы новобранцев похожими на одуванчики. Толстое черное сукно шаровар немилосердно кололо ноги, а новые жесткие сапоги, смазанные вонючим дегтем, казались неподъемными колодками по сравнению с мягкими лаптями.

— Гляди, Пронь... — тихонько толкнул его в бок Сенька, неловко оправляя брезентовый ремень с тяжелыми кожаными подсумками на тридцать патронов каждый. — Прямо как на праздник нарядили. Белые какие...

Ванька, натягивая сапог, хмуро буркнул:

— На таком поле, как у нас под овес, в этой белизне тебя за версту видать будет. Как зайца на пашне.

— Цыц мне! — прикрикнул проходящий мимо унтер. — Белая рубаха — честь солдата! Винтовки к осмотру!

Тяжелая трехлинейная винтовка Мосина легла в руки Прони непривычно. Сталь была холодной, пахла густым ружейным салом, а приклад был вырезан из тяжелой березы. Когда к стволу с сухим щелчком примкнули длинный четырехгранный штык, Сенька снова испуганно сжался.

— Он будто живой, — прошептал веснушчатый парень. — Будто сам ищет, кого уколоть.

— Он не живой, — спокойно ответил Проня, проверяя, плотно ли сидит казенный ремень на портупее. — Это просто железо. Как коса или топор. Только у косы своя работа, а у него — своя. Но руки-то твои, крестьянские. Они сильнее железа.

Утро отправки выдалось серым, окутанным мазутным туманом. На товарной станции Пензы царил оглушительный хаос: ржали лошади, которых по настилам затаскивали в передние вагоны, кричали офицеры, глухо басили паровозы. Длинная цепь потемневших от копоти «теплушек» замерла у перрона с железными дверями, распахнутыми, словно разинутые рты.

— По вагонам! — покатилась команда вдоль путей.

Проня первым шагнул на железную подножку вагона, обернулся, чтобы подать руку Тихону. Тот на миг замер, оглядываясь назад, туда, где за горизонтом осталась Наровчатская земля. Ванька замешкался на перроне, глядя под ноги на щербатые доски настила, словно прощаясь с самой мирной землей. Проня поймал его взгляд, протянул ладонь:

— Эй, Вань... ну чего ты там застыл? Тянись давай!

Ванька вцепился в его руку, и Проня надежно затащил земляка в полумрак теплушки.

Вагон пах смолой, казенным сукном и сухарями. Каждому выдали по мешку ржаных сухарей, высушенных до состояния гранита. Проня попробовал разгрызть один — чуть зубы не оставил. Старшие мужики сразу смекнули, в чем дело: начали разбивать сухари тяжелыми березовыми прикладами винтовок, кроша их в жестяные котелки и заливая кипятком.

Паровоз взвыл — длинно, протяжно, прощаясь с Пензенской губернией. Вагон дёрнулся раз, другой, железные сцепки лязгнули, и эшелон медленно покатился на восток.

Настоящая муштра началась уже на следующий день, прямо на колесах. Свой первый ружейный прием Проня запомнил на всю жизнь — вот только проходил он не на просторном казенном плацу, а на пыльных сибирских полустанках, где поезд вставал на короткие технические стоянки для заправки водой и углем. Едва паровоз затихал, унтер-офицер выбивал роту из душных вагонов прямо на траву у насыпи. Колеса еще исходили горячим паром, а жилистый унтер уже орал, сбивая парней в шеренги:

— Носки врознь! Рукоять винтовки держать крепче! Штык примкнуть! Целься!

Под перестук пролетающих мимо встречных поездов и яростные свистки маневровых паровозов Проня учился вскидывать тяжелое ружье. Пальцы отрывали бумажную обертку патронов, затвор лязгал в такт качающимся вагонам. На тридцатиградусной сибирской жаре их ослепительно белые полотняные гимнастерки мгновенно покрывались черной паровозной копотью и солеными разводами пота. Пыль летела из-под колес, намертво въедаясь в казенную ткань. За пару недель пути от щегольской парадной белизны не осталось и следа — Инсарский полк становился серым, пропыленным, обветренным. Каждое утро начиналось с чистки оружия — унтер лично проверял стволы на свет: если находил хоть каплю нагара или песчинку, заставлял драть ствол паклей до посинения пальцев.

В редкие часы затишья, когда поезд ровно стучал на бескрайних перегонах мимо забайкальских лесов, Тихон садился у приоткрытой двери теплушки, свесив ноги наружу, и смотрел на уходящие назад версты.

— Знаешь, Пронь... — тихо сказал он однажды вечером, когда тайга за окном окрасилась багровым закатом. — Я думал, нас в Пензе запрут, научат всему сначала. А дорога-то... она сама из нас мужиков вытряхивает. Глянь на рубахи — как из угольной шахты вылезли. Штампы интендантские на пузе совсем затерлись.

Проня сел рядом, положив тяжелую ладонь на плечо друга:

— Рубаха — дело наживное, Тихон. Главное, что руки помнят, как винтовку держать. Проживем. Мы всё проживем. Только вместе.

Сенька прижал к себе вещевой мешок, в глубине которого был зашит матушкин нателый лоскуток, и тоже согласно кивнул. Ванька впервые за много дней улыбнулся, глядя на свои мозолистые, испачканные ружейной смазкой пальцы.

С питанием в дороге, слава Богу, всё было строго по уставу, и солдаты не голодали. На больших станциях маршевые команды уже ждали развернутые походные кухни. Едва поезд замирал, дежурные тащили к вагонам огромные баки, и инсарцам исправно выдавали наваристые горячие щи с солониной и сытную гречневую кашу. Хватало времени и на чай — кипяток брали из огромных станционных кубов-кипятильников. Казенные ржаные сухари из мешков, высушенные до состояния гранита, каждый боец крошил индивидуально в свой собственный жестяной котелок, заливая их дымящимся варевом, чтобы размякли.

Поезд уносил их всё дальше на восток, через всю великую Сибирь, мимо Байкала, к каменистым сопкам Маньчжурии. Прежняя мирная жизнь с наровчатскими пашнями осталась где-то далеко позади, а их новым плацем стали рельсы, глухие полустанки и протяжный свист паровозного гудка. Но здесь, в тесной теплушке, сидя плечом к плечу и дружно стуча ложками по казенным котелкам с размоченными сухарями, парни из Крапивки понимали: пока они держатся друг за друга, никакая чужая земля не сможет их сломать.

Глава 2. На сопках Маньчжурии

Поезд шёл на восток так долго, что Проне казалось, будто Пензенская губерния осталась не просто за тысячи вёрст, а на какой-то другой, давно покинутой планете. За сорок дней пути стёрлись и забылись приметы родного Наровчатского уезда. Позади остались бескрайние сибирские леса, великое зеркало Байкала, каменистое Забайкалье. Эшелон 216-го Инсарского полка, пропахший махоркой, дегтем, пороховой гарью и сухими ржаными сухарями, наконец-то закрипел тормозами на пограничной станции Маньчжурия.

Когда Проня Гришкин выкатил тяжелую деревянную дверь теплушки, в лицо ему ударил чужой, ни на что не похожий ветер — сухой, пахнувший лессовой пылью и какими-то резкими, незнакомыми специями. Мир вокруг был чужим и пугающим. На перроне кипела суэта. Китайцы в синих холщовых халатах-куртках, с длинными черными косами, уложенными под круглые шапочки, громко кричали, предлагая солдатам местную снедь — вареную чумизу, лепешки и чуждые русскому желудку бобы, жаренные на вонючем конопляном масле. Вместо привычных глазу сурских перелесков и бревенчатых изб Крапивки вокруг высились голые, коричнево-серые сопки, окутанные утренним туманом. В низинах лепились друг к другу китайские фанзы из необожжённой глины с соломенными крышами и окнами из промасленной бумаги. Но больше всего пензенских хлебобобов поразили бескрайние, уходящие за горизонт поля гаоляна — гигантского китайского проса. Его стебли, толстые, как человеческая рука, поднимались в два человеческих роста, шуршали на ветру и стояли плотной, непроглядной стеной.

— Ну и глухомань... — тихо выдохнул Сенька, неловко перехватывая на плече тяжелую винтовку и испуганно озираясь на проходящего мимо китайца с коромыслом. — Пронь, гляди, тут и трава-то не наша. Как в ней воевать? Стебли-то как дубины.

— Как прикажут, так и будем, — спокойно, но с затаённой тревогой ответил Проня, хотя у самого внутри всё сжималось от этого чужого, равнодушного пейзажа. — Земля она и есть земля. Привыкнем.

Первое настоящее крещение огнем Инсарский полк принял в конце августа под Ляояном. Это грандиозное, полыхающее сражение врезалось в память девятнадцатилетнего Прони не как стройный план военачальников, а как сплошная, тягучая, оглушительная боль и глухой, слепой тупик.

Полк бросили в заросли гаоляна. Видимость в этих трехметровых зеленых стенах паниковала до двух шагов. Солдаты шли цепями, шурша сухими листьями, не видя ни соседа справа, ни соседа слева. И тут началось страшное. Японская артиллерия принялась методично, по площадям, перепаживать эти зеленые поля. Воздух в одночасье превратился в грохочущий ад. Тяжелые снаряды с хриплым воем падали в самую гущу зарослей, срезая стебли гаоляна вместе с человеческими телами. Воздух стал черным от пороховой гари и лессовой пыли. Земля взлетала огромными фонтанами. Окопы, которые инсарцы наспех пытались копать в каменистом грунте сопки короткими саперными лопатками, рушились, засыпая солдат заживо. Вокруг свистели осколки, со страшным железным писком вгрызаясь в камни.

В этом хаосе Проня впервые увидел смерть близко. Прямо в зарослях гаоляна, потеряв ориентацию, метались испуганные парни. Лица его вчерашних деревенских товарищей, ещё месяц назад шутивших на посиделках в Шиловке и Крапивке, менялись прямо на глазах — с мальчишеских, округлых, они за один день становились стариковскими, серыми от копоти и окаменевшими от ужаса. Крики раненых тонули в грохоте канонады. Связи с батальоном не было. В какой-то момент цепь дрогнула. Рядом испуганно вскрикнул Ванька — осколок попал ему в ногу, и он повалился в измятый гаолян, теряя винтовку. Японские пули срезали верхушки стеблей прямо над ними, как коса. Назад уже бежали растерянные солдаты из третьей роты.

Проня, вжимаясь в каменистую землю рядом с Ванькой, почувствовал, как к горлу подкапывает липкий страх. Хотелось бросить всё и бежать вслед за третьей ротой. Но взгляд упал на бледное лицо земляка, который судорожно сжимал руками окровавленную штанину. Внутри Прони будто что-то перемкнуло. На смену панике пришла упрямая, злая крестьянская рассудительность. Он понял самую главную, горькую окопную правду: выжить на этой войне — значит не бежать, не прятаться в панике, а стоять насмерть там, где тебя поставили, и держать своих.

— Тихо, Ванька, тихо! Не ори, — хрипло крикнул Проня, перекрывая грохот разрыва.

Он рванул на себе пакет первой помощи, зубами разорвал обертку и, туго перетянув ногу товарища, взвалил Ваньку на свои широкие плечи. Шаг за шагом, проламываясь сквозь душную стену гаоляна под непрекращающимся обстрелом, Проня тащил земляка на перевязочный пункт у подножия сопки. Лицо его было черным от пота и копоти, легкие горели, но он не бросил Ваньку. Именно там, под Ляояном, Инсарский полк оставил свою первую кровь, а Проня Гришкин научился главному — смотреть смерти в лицо и не отступать.

После Ляоянских боев фронт замер на реке Шахе. Началась долгая, изнурительная позиционная война, и тут обнажилась ещё одна страшная беда. Инсарцы прибыли на фронт в ослепительно белых летних полотняных гимнастёрках и белых чехлах на фуражках. В казенных интендантских ведомостях в Пензе это числилось «формой мирного времени», но на фронте эта белизна стала смертным приговором. На фоне коричневых маньчжурских сопок и пожелтевшего осеннего гаоляна русские солдаты были видны японским стрелкам за километры, как мишени в тире. Под Ляояном полк понёс из-за этого огромные, глупые потери — японские снайперы выбивали «белорубашечников» без промаха.

— Да что ж мы, как гуси на выданье! — ругался Тихон, разглядывая свою грязную, но всё ещё приметную издалека белую рубаху. — По нам быют со всех сторон, а мы из окопа высунуться не можем — сразу пуля в лоб!

Солдаты поняли: казенного спасения от интендантов ждать некогда. Маскироваться нужно самим. Прямо в окопах и полуразрушенных фанзах закипела кустарная, отчаянная работа. Инсарцы раздобыли у местных китайцев огромные медные чугуны, разводили костры прямо в укрытиях и заваривали в них самый дешёвый, крепкий плиточный чай, перемешивая его с дорожной грязью, золой, табачной крошкой и корой сорных кустарников.

Проня вместе с Тихоном стоял у такого котла, помешивая длинной палкой кипящую бурую, дурно пахнущую жижу. Они снимали свои гимнастерки с огромными черными интендантскими штампами «216 П.И.П.» на подолах и бросали их прямо в варево. Свежая крахмальная ткань неохотно впитывала грязь, но после долгой варки ослепительная белизна уходила. Рубахи становились грязного, серовато-зеленого, землистого цвета — кавалеристы называли его «хаки».

Рядом Сенька неловко крутил в руках свою фуражку с приметным издалека белым чехлом:

— Пронь, а чехлы-то белые зачем в грязи валандать? Сдернуть их к лешему, да и дело с концом! Останется темный каркас, в гаоляне не приметишь.

Проня качнул головой, не отрываясь от котла:

— Дурья твоя башка, Сенька. Сдернешь чехол — картонный околыш под маньчжурским солнцем за час твой мозг спечет, как яйцо в золе. Да и ливень пойдет — раскиснет казенная основа, в чём ходить будешь? В тряпке? Затирай глиной из ручья, не умничай. Фельдфебель увидит без чехла — мигом на гауптвахту загремишь за порчу казенного имущества. И белые чехлы на фуражках безжалостно терли мокрой глиной из ближайшего ручья.

Когда Проня надел обратно высохшую, жесткую и пахнущую махоркой и чаем гимнастерку, он оглядел свою роту. Щёголи и парадники исчезли. Теперь перед ним стояла суро-

вая, обветренная, серая масса — солдаты, сливающиеся с самой маньчжурской землей. В этих грязных, перекрашенных вручную рубахах и родилась та упрямая пехотная сила, которой суждено было выстоять.

К ноябрю Маньчжурию сковала лютая зима. Температура падала ниже тридцати градусов, ледяной ветер из пустыни Гоби сдувал палатки и мгновенно обмораживал пальцы. Позиции Инсарского полка превратились в настоящий подземный город. Долбить каменистую, промерзшую на версту землю было каторжным трудом — лопаты ломались, кирки тупились, искры летели из-под ударов. Но крестьянские руки Прони и его товарищей справились. Инсарцы зарылись глубоко под землю, построив систему глубоких блиндажей и землянок.

Чтобы не замерзнуть насмерть в этих ледяных норах, русские солдаты переняли у местных китайцев устройство кан. Проня вместе с Сенькой аккуратно выкладывали из плоских камней и местной серой глины длинную горизонтальную трубу-дымоход вдоль всей бревенчатой лежанки внутри землянки. На одном конце трубы, у самого входа, разводили небольшую печурку, куда бросали сухие корни и солому гаоляна. Горячий дым шел по каменной трубе через все помещение наружу, нагревая камни лежанки. В землянках всегда стоял густой, едкий дым, от которого слезились глаза, одежда насквозь пропахла гарью, но это было единственным спасением. Солдаты спали плотно прижавшись друг к другу на этих теплых камнях, слушая, как снаружи, над их подземным домом, воет ледяная маньчжурская выюга и глухо ухают редкие тяжелые снаряды.

А потом наступил февраль 1905 года. Мукденское сражение, превратившееся в гигантскую сухопутную бойню, докатилось до позиций инсарцев. 28 февраля у небольшой деревни Сяо-Тайцзы разыгрался один из самых кровопролитных и яростных боев всей кампании.

Японские войска генерала Ноги, подтянув свежие силы, пошли на решительный прорыв фланга. Воздух над Сяо-Тайцзы превратился в сплошной гул. Французские пулеметы «Гоч-кис», бывшие на вооружении у японцев, строчили без умолку, буквально срезая брустверы окопов. Земля стонала от взрывов, метель смешивалась с пороховой копотью так, что в десяти шагах ничего не было видно. Окопы инсарцев на окраине деревни были полуразрушены артиллерийским валом. Роту Прони прижало к ледяной, промерзшей земле шквальным свинцовым огнем. Пули свистели прямо над головами, с тихим «вить-вить» вгрызаясь в сугробы, не позволяя даже поднять глаз для прицеливания.

Ротный командир, молодой поручик, только что выбежавший из штабной фанзы, упал навзничь, сраженный осколком в грудь. Унтер-офицеры были тяжело ранены и хрипели в полуразрушенном блиндаже. Наступил тот самый страшный, критический момент боя, когда цепь готова была дрогнуть, сломаться и побежать назад, подставив беззащитные спины под расстрел пулеметов. Еще секунда — и полк захлебнется в панике.

В этом крошечном аду девятнадцатилетний рядовой Прокофий Гришкин не дрогнул. В его крестьянской душе страх внезапно перегорел, уступив место чистой, холодной и яростной решимости. Он вспомнил родную Крапивку, вспомнил отца Григория и медную иконку на груди. Он понял: если сейчас не подняться — погибнут все его земляки, вся рота будет расстреляна в этих ледяных ямах.

Не прячась за спины товарищей, Проня первым рванулся в полный рост из разбитой воронки. Лицо его было замерзшим, зубы сжаты.

— За мной, братцы! Не посраим Пензу! Ура-а-а! — хрипло, во весь голос закричал он, перекрывая сухой треск пулеметов и завывание метели.

Этот крик, отчаянный, сильный и родной, прорвал ледяное оцепенение солдат.

— Гришкин поднялся! Проня идет вперед! — закричали в цепи.

Его порыв мгновенно подхватили другие голоса. Один за другим инсарцы, преодолевая страх, начали подниматься из снега, примыкая на ходу граненые штыки к своим трехлинейкам. Сквозь дым и метель, пробиваясь к вражеским позициям, Прокофий шел впереди, увлекая за

собой людей собственным примером. Он шел прямо, твердо ставя казенные сапоги на лед, не пригибаясь там, где все старались стать ниже, и в его уверенной поступи было что-то такое, что заставляло остальных подниматься и идти следом под свинцовую метель.

Они ворвались на окраину Сяо-Тайцзы. Бой мгновенно рассыпался на десятки жестоких рукопашных схваток в узких, занесенных снегом проходах между глиняными фанзами. Здесь уже не было места стрелковым уставам. Проня дрался с ледяной яростью человека, защищая своих. Прямо из-за угла разрушенного сарая на него выскочил японский солдат с занесенной винтовкой «Арисака». Проня резко уклонился от колющего удара, почувствовав, как сталь скользнула по рукаву его суконной шинели, и со всей крестьянской силой, возвращенной на тяжелом плуге, ударил врага прикладом в лицо.

В ход шли штыки, приклады, саперные лопатки и тяжелые камни из разбитых заборов. Проня не искал славы и не думал о наградах — он просто не мог позволить себе упасть, когда вокруг один за другим падали его товарищи. Его взвод смял передовую цепь японцев, прорвался к ключевой фанзе на перекрестке и закрепился там, ведя яростный огонь из окон.

К исходу дня японские войска были полностью выбиты из Сяо-Тайцзы. Деревня осталась за Инсарским полком. Прокофий вышел из этого пекла живым, с черным от пороховой гари лицом, но без единой царапины — будто сама судьба и материнская молитва берегли его для будущих великих испытаний трех эпох.

Такую невероятную стойкость и отвагу командование корпуса не могло не заметить. Приказом от 12 февраля 1905 года за личное мужество, спасение позиции и командование товарищами в критический момент боя у деревни Сяо-Тайцзы рядовой Прокофий Григорьевич Гришкин был удостоен Знака отличия Военного ордена Святого Георгия 4-й степени — легендарного солдатского «Егория», высшей награды для нижних чинов империи.

Когда перед поредевшим, закопченным строем полка командир, полковник Матов, приколот серебряный крестик к его грязной, прожженной порохом и вываренной в чае гимнастерке, в глазах Прони не было торжества. В них была лишь тихая, бездонная усталость человека, который только что прошёл сквозь огонь, выжил и знал: война еще не окончена, и впереди у него — еще очень много битв.

Глава 3. Из «Пекина» в Окопы Великой Войны

Осенью 1905 года война на Дальнем Востоке наконец затихла. Поезда, увозившие поредевший 216-й Инсарский полк обратно на родину, шли уже без спешки. Проня Гришкин возвращался в родной Наровчатский уезд не тем девятнадцатилетним робким парнем, что уходил к пыльному Наровчату под плач матери. На его груди, тускло поблёскивая, покоился серебряный Знак отличия Военного ордена 4-й степени — награда за страшный бой у Сяо-Тайцзы. Он выжил в маньчжурском аду, но за это пришлось заплатить безвозвратной потерей беззаботной юности.

В родную Крапивку герои вошли тихим ясным днём. Деревня встретила их всем миром: матери падали на грудь сыновьям, плача уже от счастья, отцы крепко, по-мужски, обнимали за плечи, а девки застенчиво поглядывали на возмужавших, обветренных парней. Из тех, кто ехал вместе с Проней в одной теплушке, вернулись не все. Но те, кто ступил на родную землю, принесли с собой дух победы над собственным страхом.

Проня принёс в избу отца не только серебряный крест, но и удивительные рассказы о далёких краях. Долгими зимними вечерами у коптилки собиралась половина Крапивки. Мужики, открыв рты, слушали Проню, Тихона и вернувшегося после ранения Ваньку. Солдаты вспоминали бескрайний гаолян, глиняные фанзы, суровые сопки и загадочный, недостижимый город, название которого тогда не сходило со страниц уездных газет, — Пекин.

Для наровчатских крестьян Маньчжурия и Китай слились в одно далёкое сказочное пространство. Боевых парней, выстоявших в рукопашных схватках, в уезде уважительно и в шутку прозвали «пекинцами». Прозвище оказалось настолько цепким, что вскоре и саму Крапивку соседи из Шиловки начали называть не иначе как «Пекин».

— Куда поехал-то? — спрашивали на ярмарке в Наровчате.

— Да в «Пекин», за овсом к Гришкиным!

Это гордое, полушутливое имя стало частью местного фольклора, вечным напоминанием о том, что в этой глухой лесной деревушке живут люди со стальным характером.

Дома Прокофия ждала большая крестьянская работа. Семья Григория Васильевича Гришкина в Крапивке была огромной и крепкой. Проня рос среди шести старших братьев, будучи самым младшим, седьмым сыном в доме. К моменту его возвращения с Дальнего Востока часть старших братьев уже успели отстроиться, отделиться и завести свои хозяйства, подняв новые крепкие избы на другом, нижнем конце Крапивки, вдоль единого деревенского порядка. Прокофий же, как самый младший из семерых сыновей, оставался главной опорой для стареющих отца с матерью.

Само их подворье считалось в уезде зажиточным. На взгорке стояла просторная пятистенная изба под прочной тесовой крышей. На широком дворе мычали три дойные коровы, в конюшне сыто фыркали сильные рабочие лошади, а в амбаре всегда водился запас зерна. Прокофий сразу впрягся в дела: его мозолистые руки истосковались по тяжелому плугу, косе и запаху парного молока. Казалось, матушка-земля забирала из него маньчжурскую окопную гарь, возвращая силы.

В 1908 году на престольный праздник в соседнем селе Шиловка Прокофий впервые увидел её — Дарью Котову. Семья Котовых едва сводила концы с концами, перебиваясь с хлеба на квас, изба их покосилась, а из скотины была лишь худая козёнка. Но стоило Прокофию столкнуться взглядом с Дарьей у околицы — и всё. Сердце Георгиевского кавалера, не дрогнувшее под Сяо-Тайцзы, оборвалось от любви с первого взгляда. Дарья была тонкой, статной, с темными косами и гордым, независимым взглядом.

Гришкин-старший поначалу и слушать не хотел о бесприданнице:

— Не пара она тебе, Проня! У нас хозяйство, сытый двор, старшие братья вон каких девок в дома привели, а у неё за душой ни гроша. Ищи ровню!

Но Прокофий проявил ту самую ледяную упрямую твердость, которой выучился на войне:

— Либо Дарья, батя, либо никакой другой в нашем доме не будет. Я при вас остаюсь, мне и хозяйку выбирать.

Сама Дарья за богатого и сурового «пекинца» замуж тоже не рвалась — пугала её и зажиточность Гришкиных, и строгий нрав ветерана. Однако Прокофий отступать не умел. Свадьба шла тяжело, но парень взял её долгой, уважительной осадой. В том же 1908 году в Никольской церкви села Шиловка молодых обвенчали, а после на широком подворье Гришкиных отыграли шумную, весёлую свадьбу. Семья не поскупились: столы ломились от пирогов, калачей и наровчатской настойки. Дарья вошла в их большой дом новой хозяйкой.

Через год молодая жена оттаяла, разглядев за суровой солдатской выправкой мужа надежность, нежность и глубокую любовь. А ещё через год, в 1910-м, их семейное счастье увенчалось криком первенца — Дарья родила Прокофию дочку Пелагею. Девочка росла крепкой, светловолосой, и молодой отец души в ней не чаял, замирая от счастья, когда маленькие пальчики дочки трогали его серебряный крест на рубаше.

Четыре года пролетели в счастливых семейных заботах. Прокофий радовался дочке, строил планы на расширение подворья, ухаживал за скотиной. Но тишина наровчатских лесов оказалась обманчивой. Наступило роковое лето 1914 года.

В июле колокола Никольской церкви в селе Шиловка снова забили тревогу. Германия и Австро-Венгрия объявили войну России. По всей Пензенской губернии запели призывные набаты.

Повестки в Крапивку и Шиловку пришли разом. Судьба снова сводила старых друзей вместе: Прокофия, Тихона, Ваньку и веснушчатого Сеньку призвали в один день. Они опять вместе уходили на войну, только теперь за плечами каждого стоял грозный маньчжурский опыт, а дома оставались плачущие жёны и подрастающие дети.

Прокофию Гришкину было уже под тридцать. Теперь его и товарищей призывали как ратников ополчения первого разряда — опытных, проверенных огнём ветеранов. Повестка застала его в поле, прямо в разгар летней страды, когда они с Дарьей убрали рожь. Матушка, Анна Степановна, постаревшая и согнувшаяся от времени, снова запричитала у калитки. Но теперь рядом плакала и Дарья, прижимая к подолу четырехлетнюю Полюшку. И уже Дарья вешала мужу на шею всё ту же медную иконку Михаила Архангела, спасшую его под Сяо-Тайцзы.

Отец Григорий Васильевич, чьи руки уже дрожали от старости, молча обнял сына: «Ты всё знаешь, Проня. Вернись». Тут же, у калитки, стояли и старшие братья со своими бабами и ребятишками. Они крепко, по-мужски тискали Прокофию за плечи, совали в руки табак и молчали — их собственное время уходить на фронт придет чуть позже, а пока они провожали младшего из них, седьмого сына в семье Гришкиных, ставшего для их рода первенцем этой новой большой войны.

За околицей Прокофий встретился со своими маньчжурскими однополчанами. Рядом с ним встал Сенька из Шиловки, а чуть позади — Тихон и Ванька из Крапивки. Все они, по старому крестьянскому обычаю, перед дальней дорогой помылись в бане и надели чистые, праздничные рубахи — так испокон веков уходили на войну, как на последний Божий суд. Прокофий гордо приколол на грудь свой серебряный маньчжурский крест. Они молча переглянулись, поправили лямки холщовых мешков и вместе зашагали к Наровчату. Пять верст от Крапивки до уездного центра наровчатские мужики прошли на одном дыхании. Чем ближе они подходили к Наровчату, тем гуще становилась колонна: со всех проселков, из мелких деревень и

глухих хуторов на тракт выходили новые и новые группы запасников в крестьянских армяках и пиджаках, с холщовыми сидорами за плечами.

Прямой железной дороги на Пензу в самом уездном городе не было. Чтобы попасть в губернский город, маршевой команде под присмотром младшего офицера из Наровчатского уездного воинского присутствия предстояло сначала прошагать немногим больше двадцати вёрст на северо-восток — до ближайшей станции Арапово, что на Рязанско-Казанской дороге.

Командовал ими подпоручик Лосев — молодой, лет двадцати двух, гладко выбритый, с хромовыми сапогами и портупеей, которая блестела так, будто её натирали воском каждый вечер. Видно было, что он только-только из училища: в нём ещё жила эта юнкерская уверенность, что служба — это прежде всего выправка и команды. И при этом держался он так, будто ему доверили не горстку запасных, которых надо довести до станции, а, по меньшей мере, гвардию.

— Смирно! Равнение направо! — скомандовал он, когда колонна выстроилась на площади перед воинским присутствием. Голос был тонкий, срывающийся, как у мальчишки, который перекрикивает двор. — Шаг в ногу! Не разговаривать! Кто отстанет — пеняйте на себя!

Прокофий покосился на Тихона. Тихон чуть заметно кивнул: видел, значит.

— Двадцать вёрст, — проворчал Ванька, поправляя на плече холщовый сидор. — Да по такой жаре. Ноги до колен сотрём.

— Не ной, — коротко бросил Проня, шагая рядом. — В Маньчжурии по тридцать в день шли, и ничего.

— Так-то в Маньчжурии, — не унимался Ванька. — Там хоть ветер с сопок. А тут — пыль, духота, ни деревца.

— Зато дома, — тихо сказал Тихон, глядя на поля, что тянулись до самого горизонта. — Может, последний раз видим.

Все замолчали. Сенька, шедший позади, сплюнул под ноги и глухо проговорил:

— Чего раньше времени хоронить себя? Дойдём до Арапова — там поезд. А там, глядишь, и до Пензы доедем.

— До Пензы-то доедем, — отозвался Ванька. — А вот что в Пензе дадут — вот вопрос. Может, оружие, может, шиш с маслом.

— Дадут, что положено, — сказал Проня. — Не впервой.

Лосев шагал справа от колонны, стараясь держаться прямо и не показывать, как гудят ноги и липнет к спине гимнастёрка. К десятой версте его бравая осанка слегка просела: портупея тёрла плечо, хромовые сапоги, ещё утром такие нарядные, теперь казались чугунными, а пыль садилась на голенища серой коркой. Он косился на колонну, и от этой будничной, привычной выносливости этих людей ему становилось не по себе. Они шагали ровно, не жалуясь, будто двадцать вёрст по жаре — обычное дело. И от этого уверенного шага Лосеву становилось горше: он-то старался выглядеть командиром, а выходило, что он просто изнеженный мальчишка рядом с этими крестьянскими мужиками, привыкшими выносить то, что другому и не под силу.

Вёрст через пятнадцать, когда солнце припекло не на шутку и колонна растянулась по пыльному тракту, подпоручик Лосев заметил, что Сенька отстал и идёт чуть позади строя, прихрамывая.

— Эй, ты! — крикнул Лосев, обернувшись. — Строй не видели? Займите место!

Сенька прибавил шаг, но не слишком старательно.

— Ногу натёр, — буркнул он, входя в строй. — Лапоть развалился.

— Это не моё дело. В строю — шагать в строю. А не ковылять, как на покосе, — отрезал Лосев и добавил громче, чтобы слышали все: — Запасные! Видал я таких вояк. На марше киснут, а в бою первые пятки чешут...

Он не договорил. Прокофий, шедший справа, остановился. Не резко, не громко — просто перестал идти. Колонна за ним замедлилась, заколебалась. Лосев обернулся.

— Что такое? — резко спросил он. — Почему остановка?

Прокофий глядел на него снизу вверх — был невысок, коренаст, вдвое шире офицера в плечах. Лицо у него было спокойное, только желваки на скулах проступили. На его новой рубахе тускло поблёскивал Георгиевский крест.

— Ваше благородие, — сказал он негромко, и в голосе не было ни дерзости, ни подобострастия, — человек ногу натёр. Лапоть худой. Он и так старается. А вы его при всех поносите. На фронте поймёте, что человек дороже уставной строки.

Лосев побагровел. Рот открылся, но слова застряли — он не привык, чтобы нижний чин ему возражал. Тем более так: спокойно, в лицо, без тени страха. Глаза его скользнули по Георгиевскому кресту на груди Прокофия — и на миг он замер. Крест был серебряный, потёртый, но от него веяло чем-то таким, чего не давали ни за выправку, ни за начищенные сапоги. Потом всё-таки нашёл голос.

— Вы... — он задохнулся. — Как ваша фамилия?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.